

О ПОЛЬЗЕ ПРОСТОРЕЧИЯ

— Ну и чем же обязан русский язык Крылову? — взглядом Дия Александровна аккуратно просверливает во мне дырочку. Ерзаю на стуле, словами сыплю, но не проходит — Дие нужна цитата, от А до Я. «Да чтоб тебя!..» — голова трещит. Температура спала, а толку — взмокла вся. Утираюсь.

Дия тоже простужена. Вежливо прикрывает нос и рот платочком.

— Ну? — смотрит на меня, недоумевая.

Судорожно перерываю подвал памяти.

Надо ж было заболеть! Причем наповал. И не когда-нибудь, а в день «Ч», когда моя группа сдавала «Историю русского литературного языка». Теперь проблем не оберешься. Упрашивай, вставай в очередь, слушай внимательно, кто ты и что ты есть на самом деле. Дия прямая, как рельса. Или как шпала. Как весь железнодорожный путь. От нее не утаишься: маленькие цепкие глазки выхватывают все, что нужно, и сколько не верещи про обстоятельства и исключительность, цену она тебе знает.

У Дии нельзя опаздывать, разговаривать, обмениваться записками, чихать и кашлять тоже, между прочим, нельзя. Иначе — за дверь. С очень оскорбленным достоинством.

По-настоящему Дия — Абдурахмановна. Ей чуть-чуть за шестьдесят, но она старается — рисует губы, прибирает седину в высокую прическу. Улыбается, шутит. Ее грассирующее «р» скачет по аудитории, вырывается в коридор и скатывается по ступенькам. Звонит на кафедре и замолкает на улице с последними поклонами. Дия в хорошем настроении: подколет, уест, расставит все точки над «і!». Отряд, смирно! Равнение на середину!.. Дия проплыла с достоинством крейсера. Вольно!

Про нее каких только легенд ни сочинили. Будто молоденькой муж ее в Болгарию возил, на Солнечный берег, угощал «Плиской» и свежими фруктами. Всегда самое лучшее: обувь, тряпки, украшения, общество, разговоры. Театры, альбомы с репродукциями, журналы, книги. На всякий случай самиздат. Но не вслух. Вслух зачем? Глупцов не любила. «Вы, — говорит, — батенька, невыразимая б... в искусстве!» — похлопывая по плечу съжившегося в ногах режиссера. Будто орден прицепила. За заслуги перед отечеством. Весело, шумно, под звон хрусталя и перемену блюд.

Пока Дия трепала театральное сообщество, муж с придыханием застегивал ей новенькие босоножки. Ничего особенного. Интеллектуальная слабость.

Потом муж умер. Не сказавшись, взял и умер. Погоревала и снова за свое. Взмахнет левым рукавом — по уху смажет, взмахнет правым — по носу шелк. Забавлялась. Дия жизнь по-своему понимала, мертвечину за версту чуяла и не терпела. Время шло, радости рассеялись. Блеск потускнел, лоск утратился. Не заботясь о параде, отворяла Дия дверь приблудившейся соседке. Той, что в катастрофе на материке всю родню потеряла. Скромно в кухоньке присаживались, откупоривали бутылочку, за разговором до ночи и дотягивали. А то, бывало, и до утра. Веки смыкаются, в сон коннит, а Дия на лекцию собирается. До чего ж надоели, тунеядцы!

Про Пушкина всегда трезвая рассказывала, уважала Александра Сергеевича очень. Про Ломоносова тоже, а вот Карамзину, поставив в заслугу изобретение буквы «Ё», в трезвости отказывала. Стилистику разобрала на алгоритмы и схемы. Нейтральные, устаревшие, разговорные, неологизмы, поэтизмы... Слова демонстрировали лексическую окраску, дефилируя перед нашим носом. И уже от зубов отскакивало: просторечное, специальное, профессионализм... Тра-та-та-та-та, как из пулемета. Отстрелялся, молодец, получай зачет. А ты чего замешкалась, голубушка? Тык-мык... Вон, доучивать!

Дию поджидали на перекуре. Завидев ее пошатывающуюся фигуру, мчались в аудиторию, хватали манатки и сваливали. Дия в ноль. Не поздоровится. Ни Карамзину, ни галерке. Утро стрелецкой казни лучше уж прогулять.

Я ее тоже сначала побаивалась. Как зарядили с первого курса — «ужас, ужас!», поневоле поверишь. Народ рыдал, забирая документы, летели в тартарары и жизнь и карьера, а ей хоть бы хны. На пятом курсе гроза филфака наконец предстала во всей красе, и я успокоилась — фрекен Бок. Собственной персоной. Чуть визгливая, правда. В душе я ей улыбалась.

Как-то она меня в дверях придержала: «Я читала вашу заметку в «Советском Сахалине». Очень хорошо». Вот тебе на! Я растерялась. Стоит, кивает: «Я давно за вами слежу». «Спасибо...» — пожалала плечами и вышла.

Жанка, староста, прибежала в тот же день, как экзамен провалила. Румяная, колючая с мороза.

— Чего не сдала-то? — недоумеваю.

— Билет дурной попался, тринадцатый. Первый вопрос про формирование «высокого штиля», второй про Крылова. Она ж про него не читала ни фига, только на консультации заикнулась.

— Ясно...

— Ты давай выздоравливай, с «бэшками» сдавать пойдем! — не унывает Жанка.

— Думаешь, пустит?

— Еще б не пустила! Я про тебя заикнулась, только рукой махнула: сдаст, говорит, твоя, не волнуйся.

Лежу, листаю тетрадку. Буквы знакомые проглядываю...

— Ну так и чем обязан русский язык Крылову? — закипает Дия Абдурахмановна.

Убей Бог, если это совпадение — вытянуть Жанкин билет. Про «высокий штиль» оттарабанила без запинки. С Крыловым, чую, завал... Плакали мои каникулы...

— Показываю! — терпение лопнуло. Дия подскакивает и толкает рукой дверь. Та выстреливает в коридор, а вместе с ней и я автоматом выпаливаю:

— Широко открыл дверь просторечию!..

Делов-то куча...

Аспиранткой я редко заглядывала на кафедру русского, в основном по праздникам. У меня нагрузка, газета не подписана, литература не дочитана. Путаюсь

между зарубежкой и русской, в веках и пространствах. Утром про шванки, вечером про Метерлинка, от Робинзона к Пятнице перебираюсь.

— Садись, чайку попьем, — подмигивает Дия Абдурахмановна.

Сажусь. Она живо чашку достала, водочки плеснула.

— Праздник у нас или как?

— Праздник! — соглашаюсь. И осушаю чай. Весь до доньшка.

— Молодец!

— Стараюсь.

Солнце скатилось за сопки, позолотив напоследок изрезанный край. Домой хочу. Вместо дома затянули мы с Дией песню на два голоса. Протяжную и скрипучую. Как снег за окном.

Последний раз ее видела, когда она по стеночке ползком ползла. Сильно нагрузилась. Растрепанная. А тут, как назло, гости высокие. Дия между ними, как подбитый «Варяг», курс прокладывала. Все так и ахнули. Скандал! Ну тут ее под ручки и в кабинет директора.

— Не пойду. У меня лекция! — уперлись на крейсере.

— Кто вас до занятий в таком виде допустит! — ну и так далее. Кое-как домой отправили.

Студенты обрадовались — ужас накрылся медным тазом. Теперь Дию точно с работы попрут. На кафедре головняк отпадет. Опять же — часы...

Дия сама ушла. Я тогда уже в другом месте трудилась. Забежала по старой памяти, а мне новость: Дия умерла.

На «Скорой» без сознания доставили ее в больницу. Соседка по палате вроде как из знакомых оказалась.

— Ой, — говорит, — це ж наша!

— Что у нее? — всерьез поинтересовались специалисты.

— Да цирроз, она ж хлещет, как мельница!

Поставили капельницу. В себя не приходит. Додумались обследование назначить. Там и выяснилось, что не цирроз никакой, а прободение. Бегом на стол, оперировать. Да только Дия до стола не дотянула. «Ну вас совсем!»

Памятник ей справили. Сухостой каждый год драть езжу. Колючий, а перчатки забываю. Все руки в занозах.

Еле нашла сначала. Все обегала: «Да покажись ты!» Потом осенило: за пропaju святого Трифона просить надо, чтоб пособил. И как солнцем озарило — вот он, столбик, стоит, сияет прям перед глазами. «Слава Богу...»

Зачем езжу, не знаю.

Тянет...

ТАПИР*

Мороз той зимой драл нещадно. Человечки с утра летали по улицам, как шары в боулинге, стучались друг о друга и звенели. Всякая животино норвила забиться в теплую щель.

К полудню отпускало, и город задремывал, разомлев на побелевшем солнце. Еще бы вечером успеть до холодов проскочить... Магазин, продукты, ужин, спать.

* *Тапир* — травоядное животное. Ведет преимущественно ночной одиночный образ жизни. Некоторые виды тапиров относятся к вымирающим.

Стою, колочусь в ожидании автобуса.

Выбрался из своего закута и Петрович. Утро у него туманное... Пустился с протянутой рукой от одного прохожего к другому, пугая выхлопами перегара и подвальной прели.

— Чирку дай! — добрался и до меня. — Дай! Помру!

— Совсем плохо, Петрович? — пытаюсь разлепить побелевшие ресницы.

— Дай, а? — смотрит, ошупывая мою застывшую душу. Авось слабина найдется... Петрович терпеть не мог неделикатное свое положение, злился. Подавали ему неохотно и не всегда. Маленький, в побитом, прожженном бушлате, в ушанке, подобранной на китайском рынке, переминается с ноги на ногу:

— Дай чирку-то. На «девяточку». В себя прийти.

Знакомые «состояния». С похмелья не подашь — погибнет, а похмелится — тем более погибнет или менты загребут. И ладно, если в обезьянник, это б ничего. А то вывалят за городом на свалке, еще и побьют для острастки — мол, знай свое место, дядя. И точка.

— Чирки не хватит, Петрович, — улыбаюсь потрескавшимися губами. Рука-подлюка сама вытягивает из кармана замусоленные бумажки. — Держи две.

— Спасибо! Дай Бог тебе... — лицо его на секунду разглаживается, озаряется. До киоска рукой подать, беги, спасайся, а он стоит, трясется — уйти боится. Еще в неблагодарные зачислю.

— Да иди же! — топаю от досады, прикрывая нос перчаткой. Тут наконец подкатывает маршрутка. Заскакиваю, хлопнув дверью.

Медленно, как в кино, трогаемся мы с места, а Петрович стоит, растопырился...

Я недавно в этом районе. Дома сдали года два как. Аккуратные, разноцветные, один к одному. Архитектурой не блещут, но приятно глазу. Подруга попросила посторожить квартиру. Сама укатила отдыхать в Турцию, там и осталась, скоропалительно выйдя замуж за системного администратора, обслуживающего крупную сеть отелей. Квартиру же продавать не решилась — «на всякий случай». Вот и сторожу, расставшись наконец с любимыми родственниками, лелея покой и тишину.

Переселение народов совершалось бурно. Нагнали телекамер, прожекторов, шарики развесили, вручили ключи, запустили голубей на счастье, ну, — будьте здоровы! Обалдевшие, пировали новоселы недели две подряд. Потом притихли. Кредиты подперли.

Тут-то Петрович и показался. Ходил себе, взъерошенный, брюки чуть перепачканы, пальтишко на всякий случай через руку перекинуто. На лавочке пристраивался, газетки почитывал. Со стороны глянешь — воздухом дышит или за ребенком доглядывает. Детишки гроздьями висели на горках и качалках разных.

Вечером спохватывался, пиджачок на все пуговицы затягивал и тихонько сворачивал за угол. А там будто сквозь землю проваливался. Ребяшня его выследила, оказалось, и вправду «сквозь землю»: через узенькое оконце, между изолированными трубами, проскальзывал в подвал. Ни слуху, ни духу.

В августе Наташка, соседка моя, с ним столкнулась.

— Представляешь, — возмущалась, отхлебывая кофеек, — такой с виду приличный и в помойке копается! Мы с Леней в Пионеры наострились, дай, думаю, мусор выкину, а то за два дня завоняется хата, а там — этот. В пять утра! Весь вежливый, мол, «простите за беспокойство»... И задком, задком. Я ему — «не трухай», а он бегом.

— И горазда ты людей пугать! — забросив на веревку выстиранное белье, повернулась к соседке. — В пять-то утра!

— А че он лазит где ни попадя? — возмутилась Наташка.

— Значит, надо, — расправляя простыню, отозвалась я. — Может, человек есть хочет.

Наталья глаза вытаращила, поперхнулась:

— Есть?

— Ты думала, он там золото искал?

— Ну, потерял чего, всякое бывает, — забубнила Наталья. — Выкинул сгоряча да пожалел.

В ту пору, как мы познакомились, звали его Василием Петровичем Воробьевым. И вправду, как птичка, весь подобранный, ладный был. Носик-курносик, глазки маленькие, живенькие. Ростом едва мне до плеча доходил. Жизнерадостный, но очень стеснительный. Я тогда в газете только приживалась, а он уже на пенсию уходил. Фотокором всю жизнь проработал. Всех запечатлевал: от председателей до писателей. В самом что ни на есть художественном виде. Чуть не под каждым снимком значилось: фотокор Василий Воробьев.

Жил один. В «Черемушках». Там, в глубине. Жену похоронил. Рак. Дочь Маша выросла, в столицу поехала. Поступала-поступала, не поступила. Бросила это дело, нашла парня с машиной-квартирой и укатила с ним в Подмоскowie. Оттуда пару раз написала и затихла.

Василий Петрович письма ее с собой носил. Притулится где, перечитает.

— Ты чего горюешь, Вась? — подсунется редакторша.

— Да так... — заторопится, письмишко приберет и отвернется. Постоит чуток, глаза просушит. И вот он — снова веселый, улыбочивый, ручки потирает — что у нас? Фотоаппарат достанет, тряпочку специальную и трет со всех сторон, красоту наводит.

На Восьмое марта Василий Петрович всегда при «бабочке» приходил. И с букетами. «Бабочка» подпрыгивала, болтаясь между джемпером и воротничком. Вместо «здрасьте» тихонько расшаркивался, лучась, будто солнышко. С поклонами раздавал кому гвоздики, кому хризантемы, как-то выудил мне из-за пазухи веточку мимозы. Какой запах! Спасибо, Василий Петрович! А он мнетя, губы закусывает.

Подсаживаясь к столу, раскрепощался основательно, защищенный могучими спинами сослуживцев. Наполняя направо и налево стопочки, ловко цеплял ножом огурчик и сладко хрумкал. Пил Василий Петрович почти не закусывая. А что ее, закуску, переводить-то? Все равно с утра голодный проснешься.

В разгар веселья заходил за ним старый товарищ — Петя Мазур. Художник. Вася обрадованно протягивал к нему руки, торопясь навстречу. Они обнимались — щупленький Вася и огромный стеной шкаф Петя. Такой же молчун и простодыр, впрочем.

— С праздником, дорогие женщины! — гудел он напоследок, как только Вася запечатывал с собой выпить. Сумочку подхватят и идут в парк, под дерево. Там рассаживались на картонках, мандаринку делили по-братски и сидели, вздыхали. Петя начнет про краски... Вася подхватит про очаровательную физиономию, которую недавно подловил. К концу обязательно письмо достанет и в сотый, наверное, раз прочитает с выражением:

«Дорогой папка!

Живем неплохо. Устроились. У Эдика двухкомнатная, получает хорошо, хватает. Район, конечно, так себе. Но жить можно. Учиться я пока передумала. Эдик обещал на курсы пристроить, можно секретаршей потом работать. Ты не думай. Секретарши всякие бывают. Коли с принципами, так тебя пальцем не тронут. А будешь размазней, так залапают, мало не покажется.

Пап, у Эдика свечи на машине полетели и аккумулятор барахлит. Совсем не вовремя. Не мог бы выслать? Отдадим.

Погода хорошая. Не скучай. Твоя дочь Катя».

— Послал? — в который раз интересовался Петя.

— Послал, — приободрился Вася.

— Получили? — тревожился Петя.

— Ну, не вернули, значит, получили, — успокаивал Вася.

На природе Василий Петрович очень любил у речки, у костерка суетиться. Выберемся всей конторой на базу какую-нибудь, он тут же дровишек организует, треногу смастерит, котелок навесит. Глядь, уже шурпа закипает. Половником «на глаз» соли сыпанет, лаврушки кинет, перцем подправит. Все, готово. Других приправ не признавал. Укропу с петрушкой разве сверху присыплет. На кориандры всякие да розмарины раздражался только. Баловство!

Пока народ доедает, Василий Петрович чайку изобразит. В котелок заварки закинет, сахар из рюкзачка, печенье добудет, разложит на клеенке и уйдет. Чай уж сами наливайте. Под обрывом его Петя ждал. Петя — рыбак. Его брали за компанию. Чтобы Васе нескучно было. Помолчат у речки, поднимутся, ай — уже хорошенькие.

Бывало, по рюмочке еще втащут, а там Василий Петрович тихонько лицом в костер и складывался. Угли вон как мерцают. Выдернут его, а он, как маятник поломанный, в другую сторону — плюх. И непременно в воду теперь. Глаза прикроет — спит. Все равно ему — в огне гореть, в воде тонуть. Доглядывали.

В общем, списали Воробьева из редакции. Проводили на пенсию. Он и заскучал. На свадьбах тогда еще не шибко прирабатывали. Молодожены по ателье снимались. На память, как есть, в фате и с бутоньерками выскочат из машины в подъезд, переругаются, примостятся абы как, щелк, и дальше побежали. Васе такая работа — печаль одна. Да и не возьмут его в ателье — старый.

Как-то пригласили его выставку друга-художника поснимать. Вася расцвел. Стекляшки свои вытащил из кофра, разложил, отполировал, изготовился. Достал «бачочку», прицепил. Оглядел себя с ног до головы, поморщился. Брюки мяты, джемпер вытянулся и обвис, рубашка застирана... Другого нет. Порылся еще в шифоньере, добыл пару выходных ботинок, шарканул щеткой, нормально. Приободрился. Дверцу прикрыл, в зеркало опять уставился: «Просроченный товар», — вздохнул, пальцецо набросил и пошел.

На выставке Вася порхал, как воробушек, от одной картины к другой. Приглядывался, принимался, ослепленный ярчайшим зеленым, задиристым ультрамариновым, насыщенным фиолетовым. Ни грамма охры, ни тебе солнечного пятнышка: «Вечерние этюды». Пока публика задумчиво оглядывала цветочные пятна, Вася в свой объектив разглядел силуэты девушек тонкострунных, каменные лица моряков, дождь и вихрь, ту самую, верно прихваченную на полотнах жизнь. Чуть изменишь ракурс, поди ж ты, мотылек затрепетал над керосинкой на маяке. Петя любил сильный и крупный мазок. Краски укладывал основательно: паркет под ним скрипел и стирался в труху. Весь перемазанный. В джинсовой робе. Рычащий про лебедей, что в небе, да ковыль, что все еще шумел. Вася им любовался.

Едва объявили фуршет, кинулся к столам, наливая в охлажденные рюмки, скручивая крышки и вырывая пробки из горлышек. Да так ловко у него вышло, глаз блестит, мол, глядите, чего могу. Народ подивился на Васины чудеса и приступил к фуршету. Бутерброды, корзинки, дольки апельсинов-мандаринов

запрыгали в воздухе, минуя тарелки. Кольца кальмара и саблезубые канане метались между любителями живописи. «Да, да, конечно. Стиль, цвет!» — «А вот тот капитан, а?» — «Сильно, сильно». — «А девушка? Чересчур раскоса, не находите?» — «Ну что вы, это же маска!»

Вася радовался, фотографировал, забыв про картины, подливал еще. Без остановки. Радовались и мы за Васю — при делах. Молодец! Вот бы фотографии посмотреть.

А потом Вася пропал. Тщетно искали его по всему городу. Стучали в квартиру, даже замок на всякий случай взломали, никого. Потревожили Петю, не заходил ли... Переполошились не на шутку. Куда он делся? «Скорая», больницы, морги, никто нашего Васю не опознал. Сорвался воробей с ветки, и нет его.

Редакцию перевели на Комсомольскую. Там просторней. Из окна на «Горный воздух» любуешься, пик Чехова и свеженький храм. В пять вечера зазвенит колокольцами. В конце как вдарит — бом! Дескать, не задерживайся. У меня как раз рабочий день кончался. А тут — царап-царап — в дверь. Заглядывает в щелку, улыбается, уже там, в коридоре, кланяется.

— Василий Петрович! Куда ж ты пропал, дорогой? — распахиваю дверь, беру за руки, завожу, ногой подвигаю стул, усаживая дорогого гостя.

Вася тушует. Краснеет, подмигивает, вскакивает, снова садится. Хвоста не приделано, а то б он им помахал. Без конца подает мне лапу, вернее, всовывает маленькую обветренную ручку в мои.

— Я ничего, живой я. После выставки упал на лестнице, расшибся...

— Так мы ж во все больницы...

— Меня ребята в подвал забрали, выходили. Я тогда сильно выпимши был, они и подумали, что я свой. Товар-то просроченный, — улыбаясь, разводит руками Вася.

— Ну ты здоров пугать, Василий Петрович! К врачам не ходил?

— Да чего теперь? Живой, видишь...

— А фотоаппарат?

— Разбил... Кузьмич его в мешок собрал, сохранил.

— Тут вон Петр, друг твой...

— Знаю, помер.

— Переживал он за тебя, Вася.

Василий Петрович вздохнул, оглаживая колени. Достал из кармана совсем прохудившегося пальто пачку фотографий и положил передо мной.

— Возьми, может, пригодятся. У Пети жена год как померла... Стосковался.

Пока я перебирала карточки, Василий Петрович отошел к окну.

— Смотри, какая куколка! — оживился, тыча пальцем в девочку на той стороне улицы. А потом вдруг опять замялся.

— Василий Петрович, вам денег занять? — догадалась я.

Глаза его благодарно вспыхнули:

— Сотенку, а, до пенсии?

— Да две! — с готовностью лезу в сумку. — Одну до пенсии, другую — до второй! Не нужно ничего, Василий Петрович, так берите.

Задрожал, затрепетал. Деньги принял и попятился к выходу. Всё кланялся, глядя преданными глазами.

Натоптал он ко мне дорожку, появляясь сначала раз в неделю, потом, завидев мое смущение, пореже. Когда я с трудом насобираала ему полтинник, совсем запропал. Скучно без него.

Петровича я сразу опознала, как только переехала. Попыталась заговорить с ним, мол, как поживаешь, но он глаза опустит, газетки свернет и перебежит на другую сторону. «Обиделся», — подумала про себя.

Как мальчишки-то его выследили да по всему двору взялись гонять, я его к себе запрятала.

— Говори, Василий Петрович, чего у тебя приключилось?

Засмутился по старой своей привычке, закрутился, как уж на сковородке. Врешь, не отцепишься, крепко держу: «Христа ради, говори!»

— Прогнали меня. Из собственного дома прогнали.

— Да кто прогнал-то? — не унимаюсь.

— Соседи. Жалобу в милицию настрочили, да не одну, что я бомжей в дом пускаю, тараканов развожу, дебоширю...

— Ты-то! — изумляюсь. — Да ты за всю жизнь никого пальцем не тронул.

— Да я уснул, а ребята, видать, нашумели. Штраф заплатил. Там от дочки письмо пришло: «Папа, выручай...» Квартиру продал. Думал, часть ей, часть себе оставляю... Квартира хорошая, двухкомнатная. Надо было на счет, а я все наличными взял. Откуда у меня счет? У дочки тоже никакого счета...

Ограбили Василия Петровича. В тот же день, как в агентстве со всеми бумагами развязался. Квартира на нового владельца оформлена. Себе гражданин Воробьев угла не успел присмотреть. И вся песня с припевом.

— Ты ко мне не подходи больше, — извиняющимся тоном попросил Петрович. — Увидят, засмеют. Я тут, в подвальчике. Обжился малек. Затопят в октябре, не замерзну.

И ушел. Вида-то я не подавала, чтоб не расстраивался, а только в окно как глянешь, сердце ходуном ходит: сидит, на солнышке греется. Было прошения от редакции придумали писать — так, мол, и так, заслуженный человек, на старости лет, без крыши над головой, принимая во внимание, нельзя ли рассмотреть, помочь... хоть как-то помочь. «А по части чего заслуженный?» — уточнили поверх очков в приемной. Что работал всю жизнь, то не считается. Все работают. Что настоящий художник, а не тяп-ляп, так то честь ему и хвала, но за одно это угла ему дать не могут. При всем глубочайшем уважении. Ни тебе званий, ни наград, ни зарубок, ни крестиков. Чист Вася, как младенец. И, правда, не поймут люди...

Год Василий Петрович перекантовался. Друзья его, такие ж бездомные, один за одним перемерли все. Даром, что мал, а крепче всех оказался.

— Ты его не пугай, — наставляла Наташку.

— А нефиг шастать где ни попадя! — фыркнула соседка.

Белье высохло, снимать пора. У меня этаж первый. На улицу выношу. В доме сыро. А ну как подруга вернется, я-то куда пойду? В подвал, к Петровичу... В общежитие... Куда?

Той зимой все бомжи в городе вымерзли. Хоть и подбирали их, и баню, и кормежку, и ночлег давали, а только все равно переморозились. Руки-ноги им в больнице оттяпают, отдышатся и опять на улицу. Так они сами на ментов кидаться стали. Уж лучше в каталажку, лишь бы схорониться.

Петрович мой держался, каждое утро голос подавал. Заслышишь про «чирку», ага, живой! Радостно, что живой...

По весне из подвала вонь невообразимая пошла. Оттаял Петрович. Соседи службу вызвали... Бегала, доказывала, что он — это он. Нельзя его как бездомного! Паспорта нет, родных нет. Я ему кто? Правильно — конь в пальто. И никакой не Воробьев он теперь, а № 427.

КАК ГЕРАНЬ ПРОПАДАЛА

Жила в нашем городе Тамара. Всем Тамарам Тамара. В глухие годы ее особенно почитали. А все почему? Потому что самогон в подвале гнала и в кредит давала. Щедрость — редкостное качество человека переходного периода. Тем более что сама Тамара никуда переходить пока не собиралась, жизнь ее устраивала и привычки жаловаться она не имела.

Но однажды встретила я ее в растрепанных чувствах. Сидит на бортике пещочки и плачет.

— Что, тетя Том, и до тебя советская власть добралась?

— Да не-е-е, — заливается. — Если б власть!

— А чего ж ревешь?

— Пашка, козел, запил! Да как запил! Я на работу, он — на площадку следом, ключами погремит, за угол завернет и обратно!

— Теть Том, а ты случайно не того? Сама-то сегодня не принимала?

— Да что ты такое говоришь! — вздыбилась Тамара. — Ты когда видела, чтоб я с залитыми глазами по городу шастала? А? Видела?

Тело ее совершало пружинящие движения, будто готовилось к полету на орбитальную станцию «Мир».

— Ну, не сердчай, — принялась я ее успокаивать. — Ты мне лучше вот что скажи. Дядя Паша-то, он как, совсем записался? Ну, совсем не просыхает? Или так — балуется?

— Шут его знает, какой у него график, а только знаю, что пьет, подлюка!

— Откуда?

— А потому что он как выпьет, весь пятнами покрывается! И запах, запах!.. — залилась опять слезами Тамара.

Вечером я пошла к дяде Паше с дипломатическим визитом — интересно, как это аллергия у людей на спиртное бывает. Да и тетю Тамару жалко. Женщина в возрасте, не один кризис в стране пережила, а тут того и гляди до дурки дойдет. Может, померещилось? Дядя Паша человек хоть и армейский, но сроду слова дурного никому не сказал. Характер нордический, да натура мягкая, без переменной облачности.

Дядя Паша один дома. Дверь отпер, приглашает:

— Чайку?

— Извольте, пан Козловский! — обнимаемся, целуемся.

— Ну пойдем, пойдем! У меня сегодня — каркадэ!

— Что? — не решаюсь повторить услышанное.

— Каркадэ, дуреха! Чай такой, красный, с розами.

— А-а-а! — одобрительно закивала. — А я уж думала...

Дядя Паша приехал на Сахалин из дальних мест. Дед его, говорят, еще в Туркестане контру гонял. Мировыми масштабами человек мыслил. Отец же плюнул на интернационал и ушел в Тибет яков пасти. Дядя Паша пошел по дедовой линии: отучился, приобрел офицерский чин и, не раздумывая, махнул на самый Дальний Восток. И такое бывает. Здесь освобождал Южный Сахалин от японцев. И за все время ни грамма, ни полушки, ну вот даже на мизинец не пригубил...

— Чего сидишь? Давай, угощайся, — дядя Паша в пятый раз наливал из чайника красный тягучий напиток. Посуда в доме не отличалась разнообразием. Всему прочему старики предпочитали две оставшиеся от чайного сервиза чашечки. Память о юности. Таких и штук десять выпьешь, не напьешься. Чаепитие знатное: булочки вензелями, чашечки слониками. На кухонном подоконнике герань

кустилась. Из маленького пластмассового горшка тянулись толстые стебли, с пахучими листьями-ладошками.

— Дядь Паш, герань-то у вас какая большая стала, — стала издалека пробираться к волнующей теме. — Подрезать не пора ли?

— А, и не говори! — махнул дядя Паша рукой. — Совсем, дура, ошалела. Прет и прет. Откуда силы берет, ума не приложу.

Щелкнул помочами, крикнул и потянулся за чайником. Подлил и осторожно вернул на место.

— Я ж ее, гадину, в осаду взял — поливать бросил, земли, почитай с год, не досыпаю. Пластмассу, что ль, она жрет? Поди-к ее разбери, чем за жизнь цепляется?

Дядя Паша склонился на зеленеющий куст:

— Эть, житуху-то как любит! Как ее выкинешь? — поскреб в затылке, усы надвое развел, баранку в чай макает, а в рот не снаряжает. — Томка прознала, что лечебная она. В ухо закладывает листочек еёный, чтоб не стреляло. И проходит.

— Ну, значит, не зря цветок стоит, — обрадовалась я.

— А я говорю — зря! — аж пристукнул кулаком по столу. — Каприз это все, мешанство. Романсов наслушаются про сирени, жасмины. Моя герань приволокла! А чем те бузина не птица? Она вон света в окне не застит.

Дядя Паша очень уж не приветствовал комнатные цветы. Не любил их сроду. Зато обмундирование царской эпохи на нынешних картинках собирал без счета.

— Дядь Паш, ну не кипи. Обрежь ее и света тебе будет — засветишься весь, — очень мне за герань обидно стало.

— Не, — говорит, — все равно я эту контру вытраплю! Томка в подвале самогонку держит, знаешь? Вот. Я тою самогонкой цветок взялся поливать. Авось, со света сведу.

Я так рот и раскрыла. Вот те на — самогонкой цветок поливает...

— Дядь Паш, а у тебя, правда, на алкоголь аллергия? — в лоб его так и спрашиваю.

— На дух не переносу!

— И пятнеешь с него?

— Как олень.

— Ой, дядь Паш, вот Тамарка-то обрадуется!

— Чего ей радоваться?

— Она ж решила, что ты пьешь. Духом, говорит, от тебя несет.

— От баба, ну дает! — дядя Паша выпрямился, расправился. А бравый мужик-то еще. Силищи в нем — троих заломает.

— Дядь Паш, я побегу Тамарке расскажу.

— Ну, беги, рассказывай. От, бабы! Ишь че надумала...

Дядя Паша проводил меня до дверей. Обняла его на прощанье, поцеловала в чисто выбритую морщинистую щеку:

— Берегите себя...

— Сама будь здорова!

— А герань-то обрежьте. Чего ее самогоном травить! — кричала я, сбегая по лестнице.

— Давай-давай, мотор заводи...

Тамары с дядей Пашей уж и на свете нет. Некому самогон в городе гнать да и незачем — на прилавках водки полно. А герань так и кустилась. Окно их акурат над моим. Наполовину геранью закрыто. Видать, дядя Паша самогон все же мимо проливал.

За ними люди, которые поселились, весь хлам стариковский выкинули и гераньку за косы на улицу выволокли, у бака помойного поставили. Молодые, прогрессивные. Уши не болят...

Я герань на работу взяла. Душистая. Стоит, тянется. «Царствие тебе небесное, дядя Паша». Что тут поделаешь? Все там будем.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Дорогу размыло. Только Пасху отпраздновали, и Радуница подкатила. Рановато, еще и не распогодилось толком. В сапогах резиновых топаю, чтобы уж пробраться наверняка. Тропы знакомые: вот сейчас пряменько, а там — между оградок налево чуть, вон к той облезлой жестянке. Отец мой там...

...Когда отца хоронили, я совсем еще малая была. Мало чего помню, но что помню, то уж вовек не забуду.

До сих пор вижу и белые полотенца, и листья октябрьские, слетающие к нему на подушку, и зелень последнюю, уходящую. И он — большой, в темном костюме... Папка мой.

Толпища собралась страшная. И откуда столько? Будто галки перелетные — вот-вот снимутся с места. Многие уже рюмочку приняли и веселились. На них цыкали, и на секунду голоса замолкали. Но снова вспыхивали невзначай.

Меня передавали из рук в руки, как кулек с семечками... Мир пролетал мимо, и я никак не могла понять — а что происходит? Почему отец мой лежит в каком-то ящике, обитом бордовой тряпкой, почему не встает и не идет со мной играть? Почему вокруг, словно капельки капают, — он был, был, был... И пузыри в лужах — был, был, был...

Наконец-то круженье прекратилось. Уставилась на отца — большое, спокойное лицо, желтоватая кожа, плотно сомкнутые глаза и рот, застывший в улыбке...

Вот так он улыбался, когда однажды зашел за мной в детский сад.

Я, насупленная, вышла из общей комнаты и остолбенела:

— Папка!

А он вытащил из кармана рогалик:

— На!

Я прыгала и скакала. Насилу одели. Надо же — папка пришел!..

...Внезапно грянула музыка — дребезжащая и кашляющая. Очень неприятная музыка! Папку моего накрыли еще одним ящиком, забили гвозди и понесли к огромной яме. Подтянули на полотенцах и... Одно вдруг лопнуло, ящики разъехались, и отец мой вырвался на свободу. Глаза его открылись, руки судорожно схватили обрывок ткани, и вся толпа ахнула. Громко так:

— А-а-ах!

Кто-то из дяденек матюкнулся.

Его одобрили.

И в эту самую минуту я поняла, что такое смерть — это когда вот так вот укладывают в ящики спящего человека и зачем-то запихивают в яму, вырытую глубоко-глубоко. Навсегда-навсегда! Я все поняла про «был» и «умер» и от неожиданности заорала:

— Папка, папка! Он же живой! Он проснулся!..

Чтоб не орала, дали в руки пять копеек и сказали:

— Бросишь папке-то!

Кивнула и крепко зажала пятак в кулаке. «Когда же бросать? — думала я. — Ну, когда же?» Для папки ничего не жалко, даже этого пятака, первой моей деньги, ничего не жалко. Вот только зачем она ему, эта деньга?

В толчее монета выскользнула.

— А! Денежка укатилась! — пискнула я. — Денежка укатилась! — повторила громче, но никто не слышал. — А! — крикнула в ухо державшей меня тетеньке.

Кинулись искать мой пяточок, но в траве, все еще густой, хоть и изрядно помятой, вряд ли сыщешь.

— Денежка потерялась, — горевала я. — Потерялась денежка, папке ничего не достанется.

И уже не папку жалела, а то, что я такая ротозейка — маша-растеряша.

— Ой, дайте же ей мелочь! — нервно воскликнули рядом. — Так ведь и будет орать!

— На, маленькая! — протянула мне серебряную монетку незнакомая тетенька с семью волосами. И тут же запричитала: — Господи, Господи, такую махонькую сироткой оставил... — и пошла, утирая слезу платочком.

Довольная, я кинула вместе со всеми свою монету туда, вниз.

— Держи, папка! — и замолчала.

...С тех пор меня не брали на кладбище. Ни когда дед умер, ни когда бабушка успокоилась после долгой мучительной болезни, никогда. Говорили, что я сильно кричала во сне и просила папку вернуться. О том, что он повесился, я узнала позднее... И вот думаю я теперь, папка, на кой нужны все эти деньги, если легче закопать человека, чем спасти его бедную душу? И что делать мне, когда время так легко стирает из памяти твое лицо, твою улыбку?!

Я бы спасла тебя. Вцепилась бы, что есть мочи, лишь бы не шел ты ТУДА.

В том октябре мне было уже три года, а тебе — двадцать четыре. Мы оба июльские.

Я уже старше тебя. В родительский день я безошибочно отыскиваю твою могилу — маленькую, стиснутую со всех сторон. Стою молча, не знаю, с чего разговор-то начать, ну, закурю, бывает, ну, приберу тихонько — так, для порядка.

После твоей смерти худо нам с мамкой было.

Дед пристроился в детский сад, куда меня водили. Свиной держал, так вот и возил меня зимой на саночках. Хотя нет — бидоны на саночках, а я сверху.

Лопаты мы с ним делали и мухобойки, с дедом-то. Ага! Ловко у нас выходило. С ребятами не дружилось чего-то. Злые они были — все время очки мне ломали. Я ведь такой же очкарик, как и ты. Ну и ушли мы с дедом от них.

Дед болел сильно. Кашлял, хрипел по ночам, со мною спал в дальней комнатехе. Натопит печку жарко-жарко, одеяло мне подоткнет, Ваську — коту — кликнет. Я без него не спала, без коты-то. Так и коротали зимы. Пирожные мне всякие покупал, а себе — чекушку, чтобы сосуды расширить. Я его за руку водила: не упади. А дома — уй! — бабуля налетит:

— Опять с ребенком пьяный ходишь! — покричит, покричит, сядет и заплачет.

— Маш, ну, прости, Маш, — треплет за плечо. А она еще пуще заливается. Тут и я подхватываю:

— Ба, ну не плачь, — и носом трусь о ее щеку.

— Уйди, коза, щекотно, — веселеет. — Кому сказала! От, я тебя сейчас! Марш руки мыть оба.

...Деда моего тоже из петли вынули. В последний раз его видела, когда сильно выпившим домой ввалился. Стекло разбил на веранде и в окно залез. Кричит, плачет. А мы с матерью прибежали, ничего не понимаем, проснулись только:

— Деда, ты чего?

— Папа! Что ты?

— Не могу больше! — дед кричит. — Надоела жизнь эта треклятая!

— Деда... — позвала его.

— Все, погулял! — крючок с двери скинул и ушел.

Солнечный день был. Мать осколки вымела, плащик дедов обтряхнула.

Так и пропал дед. Потом меня на могилку его привели. Смотрю на памятник — дед!

— Нет, не он, — говорят, — брат его.

— Как же не он, — удивляюсь, — когда он?!

— Нет, — бабуля стоит на своем, не он и все. — Дед лечиться поехал. А брат похож сильно на него.

Знали, что затоскую. Дед для меня был все.

Так-то вот, папка. Одно жаль — самовольники. Ни записки подать, ни свечи зажечь... Лежишь тут себе, в ус не дуешь. А мне еще жить надо — до поры до времени. Иной раз думаешь, скорей бы уж. А после — так жалко себя станет... Ладно, не сердись. Ты у меня сегодня прибранный. Домой пора. Холодная нынче Радуница.

